

Роман ВИКТЮК: "Я самый богатый"

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

Журнал "Искусство" - 1998 - № 4 - 5-16

— Роман Григорьевич, в детстве вы были таким же задирой, как и сейчас, или это взрослое приобретение?

— Таким же, не то слово. Я вообще считал, если ты себя не ощущаешь лидером, если ты не впереди и на тебя все не смотрят, то жизнь какая-то скучная и неинтересная. Во Львове я собирал ребят со всего района, и то, что я видел в театре (неважно — в драме, опере или оперетте), я тут же ставил. Я играл в режиссера, я был режиссером и без этого просто не мог. Я был сумасшедшим. До сих пор помню, как мама с папой отправляли меня в Киев в пионерский лагерь, а я не хотел и безумно плакал. Но они все-таки уговорили меня поехать в коллектив. Конечно, я там сразу оказался изгоем, ведь я был с Западной Украины, значит — бендеровец. Мне это показалось неудобным. Я тут же собрал ребят, нашел пьесу и играл в ней немца, который допрашивал советских комсомольцев. Можешь себе представить, с каким неистовством я репетировал и как играл эти допросы. После показа я был в лагере первым человеком и уже не бендеровцем. Весь лагерь провожал меня с барабанами, а дочка начальницы лагеря была в меня влюблена и попросила маму оставить меня на второй срок. И опять под эти же барабаны меня возвратили в лагерь.

— А почему вы Москву поехали покорять, а не Киев? Вы уже тогда мечтали о мировой славе?

— Я тебе должен сказать, что — да. В 14 лет мне приснился дивный сон, что я приезжаю в город, где есть дом с тремя колоннами и масками на фасаде, и я приезжаю туда главным режиссером. В Киев меня, конечно же, звали. Понимаешь сама, что после такого триумфа в пионерском лагере я стал во Львове главным артистом. О чем ты говоришь! Я играл на олимпиадах всех лучших украинских людей, всех гениев — Ивана Франко, Шевченко. Когда я читал со сцены про Лизу Чайкину, про то, как ее убивали немцы, а в это время в город врвался наш советский полк, я читал ее прощальные слова о том, что она верит в победу, и наши обязательно придут, я плакал горячими слезами, и зал рыдал вместе со мной. Публика меня знала и все говорили: это наш вундеркинд, это гениальный наш Ромочка. Поэтому для меня не могло быть Украины, понимаешь? Две девочки из нашего Дворца пионеров поехали в Москву на разведку раньше меня. А меня дома уже вовсю собирали — кастрюли, ложки, сковородки, перина и подушки. Были готовы четыре чемодана. Мама считала, что я еду в Сибирь, в страшную и дикую цитадель коммунизма. В тот день, когда нужно было уезжать, пришла телеграмма от девочек Зеленских: "Не приезжай. Таких, как ты, здесь много". Если ты, Марина, думаешь, что я начал сомневаться и думать: "а вдруг они правы", то ты ошибаешься. Я эту телеграмму никому не показал и уехал со всеми этими чемоданами, которые потом потерялись в пути, и я оказался на Киевском вокзале в одной рубашечке, простых брючках и тапочках-чешках. А деньги были зашиты в трусах с обратной стороны так старательно, что отпороть и вытащить их ребенок не мог. Как я добрался до ГИТИСа — отдельный рассказ, но главное, что добрался.

— В ГИТИС вас приняли, конечно же, "на ура"?

— О чем ты говоришь! Я сдавал и в ГИТИС и во ВГИК. Во ВГИКе экзамены принимала Тамара Федоровна Макарова. Она открывала толстый том Пушкина и говорила: "Ты можешь, не зная этого произведения, прочесть его так, будто ты выучил его наизусть"? Я немедленно и без сомнения отвечал: "да". А потом она попросила прочесть то, что я люблю. Поскольку я понимал, что приехал в цитадель коммунизма, я выучил монолог Олега Кошевого из "Молодой гвардии": "Мама, мама! Я помню руки твои..." Но она же играла эту самую маму в фильме Герасимова, и я обращался прямо к ней и так плакал, так искренне говорил о том, что я ее люблю... На последней строчке она заревела, обняла меня и сказала, чтобы я завтра приходил писать сочинение. А я говорю: "У меня нет шпаргалок". И Макарова

Как правило, о Виктюке говорят, пожимая плечами, закатывая глаза и делая жесты, означающие: "Ну вы же понимаете!" Отмахиваясь обеими руками от избыточной, болезненной, пряной красоты "Служанок", "М.Баттерфляй", "Лолиты" и других нашумевших созданий, его, недолго думая, превратили в извечного enfant terrible, путая подрастающее театроведческое поколение и друг друга. О виктюковских спектаклях без устали злословят, и на них рвутся, сметая все кордоны. В театральной среде он давно уже существует сам по себе, ни в ком из коллег не ищет и не имеет поддержки. Так и живет — за прочными, не пропускающими чужаков скобками общего процесса.

Чтобы выглядеть такой гордой, одинокой романтической фигурой, Виктюк немало потрудился. Постоянное мелькание на теле- и прочих экранах, задумчиво-томные размышления о возвышенном, заграничные вояжи, неумеренные восторги поклонников, разноцветные пиджаки и, конечно, сами спектакли, в которых все не как у людей. Виктюк сам себе театр, и захлестнувшая его с головой театральность стала образом мысли и жизни. Ничем другим он жить не может и без работы просто задохнется. Оттого и кидается в многочисленные проекты, разбрасывая по стране и за ее пределы идеи, которых у него в голове не меньше, чем у страны театров, городов и весей. Не обращая внимания на язвительную уверенность критиков, что талант имеет дурную привычку быстро иссякать. Кажется, чем больше они (критики) сердятся и хохмят, тем больше он (Виктюк) ставит. Теперь надо ждать "Соломею" Оскара Уайльда.

сказала, что принесет мне завтра шпаргалки. Даю тебе слово, что она их принесла, я эту тему запомнил на всю жизнь: "Роль поэта в творчестве Маяковского". После этого сочинения я бежал на конкурс в ГИТИС, уже все к тому времени прошел, оставался я один. В комиссии меня строго спросили, почему я опоздал, я рассказал все, как было, как сдавал во ВГИК, как Тамара Федоровна принесла мне шпаргалки. Они хохотали, как безумные. И знаешь, своим украинским умом я понимаю, что они меня принимают замечательно. Меня попросили прочитать басню. Я начал читать "Волк и ягненок", и вдруг Иосиф Моисеевич Раевский говорит: "Вот ты рассказывал про Олега Кошевого, а ведь ягненок тоже плачет от страха". Ну мне заплакать было, все равно что сказать "здравствуйте". Я так рыдал, так изображал перед этим волком, что я его боюсь — они падали от смеха. Когда объявили, что я принят, я даже не обрадовался. Только отправил во Львов телеграмму своей руководительнице из Дворца пионеров, чтобы посоветовала, куда идти — в ГИТИС или во ВГИК. Она написала: "Романчику, кино — це халтура". И вопрос был решен.

— Разве вы поступали на актерский, не на режиссерский?

— На актерский, о чем ты говоришь. Да какой же может быть режиссер в 17 лет. Это безумие. Человек должен пройти прежде всего тернистый, страшный путь артиста. И я прошел через все эти мучения. Я ведь был воспитанник украинской школы. Это романтическая школа, школа открытых проявлений эмоций и темперамента. А мхатовская школа, которая считалась в Москве главной, настаивала совсем на другом: прежде пойми, оцени, а только потом действуй. Переучивался я с трудом. Если бы не Юрий Александрович Завадский, меня бы, конечно, отчислили. Но на занятия режиссеров я ходил. Тогда в ГИТИСе преподавали замечательные режиссеры Петров, Попов, Лобанов. Они не понимали, что за ребенок сидит на их уроках, но я с упорством дебила ходил,

все слушал и соображал. Задания, которые они давали своим студентам, я запоминал и пытался по-своему выполнить.

— А после института куда же вы делись?

— Уехал во Львов.

— Но если вы были такой гениальный, почему вас не взяли в московский театр?

— О чем ты говоришь, меня брали, у меня же диплом с отличием был. Первый театр, который сразу ко мне обратился, был Центральный Детский. Просто надо всегда возвращаться и начинать все сначала. Знаешь, я думаю, что и заканчивать жизнь надо Дворцом пионеров во Львове. Собрать ребят 8-9 лет и закрутить все заново. Рондо в музыке, рондо в жизни.

— Какие-то художественные авторитеты для вас существуют или вы совсем уж независимый от всех режиссер?

— Первым и единственным авторитетом... Нет, это слово неправильное. Святым для меня человеком, который приоткрыл для меня тайну свободы в искусстве, был и есть Анатолий Васильевич Эфрос. Когда я увидел его спектакль "Друг мой, Колька" в Детском театре, я был потрясен, я пытался понять, как это сделано. Ходил помногу раз на спектакль и запоминал, зарисовывал все мизансцены. Я переписал все. И потом во Львове во Дворце пионеров я собрал детей, о которых написана эта пьеса Хмелика, и стал репетировать по мизансценам Эфроса. Но ничего не получилось. Тогда я понял, что в нем есть та магия, которая не поддается арифметике. Вот этот его высший полет и есть для меня та греза, то недостижимое, о чем я тоскую и по сегодняшний день.

— Про вас ходит такое количество разных слухов и словословий, чего только о вас не рассказывают...

— Это пожалуйста.

— Вам это нравится? Нравится щекотать нервы, раздражать?

— Зачем? Зачем что-то там щекотать? Ну, вот смотри, бежит лошадь, и если это лето, то вокруг нее много мушек. Они са-

дятся ей на спину, на ноги, а лошадке-то все равно. Она-то летит вперед. Вот ты смеешься, а я говорю совершенно серьезно. Разве можно ощутить эти укусы? Ты знаешь, откуда ты вылетел, в каком стойле был и ты знаешь цель, знаешь, куда должен прибыть. Правда? Поэтому ничто помешать мне не может, я знаю, что должен туда добежать. Я могу как бы гривой отмахнуться, но даже не останавливаю бег. Я думаю, что это единственно правильное ощущение для человека, который решил посвятить свою жизнь театру.

— Вы на самом деле веселый человек или так умело притворяетесь?

— А какая должна быть у меня причина грустить? У меня все хорошо. У меня есть мои любимые книжки, моя любимая музыка. Есть аппаратура, о которой я никогда даже и не мечтал. Когда я жил в коммуналках или в общежитиях, я мечтал только об одном, чтобы ночью, когда мне приснится какая-то книжка или музыкальная строчка, я мог бы встать и снять с полки эту книжку или поставить ту музыку, которая мне была необходима во сне. А теперь у меня все это есть. Я самый богатый человек в мире.

— А как вам кажется, вы завоевали Москву? Это ваш город или он вам чужой?

— Когда я отсюда уеду, тогда ты мне скажешь об этом вослед.

— Но ваше собственное сегодняшнее ощущение какое?

— Так я же еще не уехал. У меня есть железная примета, одинаковая в любом городе, где бы я ни жил. Как только я вешаю на окна шторы, значит через какое-то время надо собирать чемоданы. Скажу тебе честно, здесь я повесил на окна жалюзи и они создают для меня впечатление, что это не совсем занавески. Вот когда я уеду, я оставлю тебе телефон и ты мне скажешь, что осталось здесь после меня. Я только знаю, что здесь есть люди, которые любят меня. Это я знаю, и мне достаточно.

— Как-то вы меня пугаете, у вас появилось желание уехать?

— Ну я же тебе говорю, что жалюзи висят. Значит это уже первый знак, что надо готовиться ехать.

— Неужто вы имеете в виду Львов и тот самый Дворец пионеров, которым все надо заканчивать?

— Необязательно Львов. Это не должна быть перемана места, но это должен быть Дворец пионеров.

— Но пионеров больше нет, что же вы делать будете?

— Пионеров нет, так другая организация появится. Без этого не бывает, люди же должны быть массовыми.

— А вот еще, посмотрите, какая странная вещь: в последнее время появилась масса театральных премий, газеты и журналы все время печатают разного рода рейтинги актеров и режиссеров, а вас и ваших спектаклей нет в этих мелькающих списках. И дело не в том, что они плохие, просто их демонстративно не замечают. Как вы думаете, почему?

— А я даже не задумываюсь об этом. Я никогда не получал от власти ничего, я это утверждаю — ничего. И я живу совершенно спокойно. Я думаю, все будет иметь какое-то значение после нас, истина обнаружится гораздо позднее. Все, что происходит сейчас, все эти игры и эти страсти, — наши домашние радости. К вечности это не имеет никакого отношения.

— Но все-таки похоже, что московская театральная среда, как будто не считает вас своим. Скажите честно, вам от этого грустно?

— Ну, хорошо, а если я их не считаю своими, так как же они могут считать меня своим? Логика очень простая — у них свой лифт, а я еду в другом лифте. Мы едем как будто в совершенно разных измерениях. И нажимаем разные кнопки. И выходим на разных этажах.

— Вы как-то почти и не бываете в Москве в последнее время, все время ездите по разным городам и странам. Если бы можно было выбирать, где бы вы хотели жить?

— Нигде. Так и запиши — нигде.

